

*Посвящается Элен Акслер*

Самое главное в Земле обетованной —  
не земля, а обет.

Это история мира — жестокого мира, где дочери похожи на своих матерей, а сыновья на отцов.

## Париж, июль 1964 года

Ненавижу свою мать. Может, зря я так говорю, но эта ненависть меня буквально захлестывает. Я бродил по пустой квартире, раздумывая, чем бы занять предстоящий нескончаемый день, и неожиданно совершил ошибку, открыв дверь комнаты Франка. Вот уже два года, как я туда не заходил; мой брат исчез в марте 1962 года, и с тех пор о нем ни слуху ни духу; мы даже не знаем, жив он или мертв. Станки закрыты, на полу разбросаны картонные коробки, счета и накладные из магазина матери; четыре сложенных садовых кресла ждут незнамо чего; на письменном столе покрываются пылью стопка тарелок, держащая шаткое равновесие, супница и пара кофейных сервизов; на кровати горой рваные простыни, полотенца и груда одежды: пальто, блузки, свитера. Мать превратила комнату Франка в кладовую, годную лишь на то, чтобы сваливать в нее ненужное барахло: она никогда ничего не выбрасывает и не отдает другим, хранит неизвестно зачем — вдруг когда-нибудь пригодится. А ведь могла бы сообразить, что здесь не помойка, и оставить в неприкосновенности комнату родного сына в надежде на его скорое возвращение, но куда там — ее мысли занимает не квартира. Родители вечно не согласны с бунтарскими убеждениями своих детей, с их стремлением сбросить оковы старого мира и построить на его развалинах новый, где людям жилось бы хорошо; в лучшем случае они помалкивают и пережидают грозу, зная, что годы бунтарства рано или поздно минуют и жизнь снова войдет в мирную колею; именно так обычно поступают родители, разве нет? Иначе почти все семьи распались бы. Но моя мать этого не стерпела и уперлась: ей

были ненавистны коммунистические убеждения сына. Еще бы: такое преступное кощунство!

И она записала старшего сына в классовые враги, будто он, с его убеждениями идеалиста, метил лично в нее. Когда Франк дезертировал и вернулся из Алжира, ему пришлось скрываться, как прокаженному, но мать и пальцем не шевельнула, чтобы ему помочь, не пожалела, даже потребовала, чтобы он явился в полицию, и только отец помог ему, невзирая на риск. Мать этого не стерпела, и отец дорого заплатил за свое заступничество — она вышвырнула его из дому. То есть сознательно разрушила нашу семью. Вот почему я ее ненавижу — она навсегда разлучила нас друг с другом. И теперь мне чудится, что я стою в комнате покойника. Из-за этой мертвой тишины, унылого сумрака и кучи недвижимых, ненужных вещей. Пыль и паутина скопились на полках с книгами по экономике, некоторые из них — на английском. А самую верхнюю полку занимают книги с карикатурами и подписями на русском языке — сначала Франк решил выучить его в пику матери, но в конечном счете страстно увлекся этим языком. А рядом не стоит, а лежит томик в веленовой обложке, с еще не обрезанными и не пронумерованными страницами, — «Путешественники на имперiale»<sup>1</sup>. Я дунул на обложку и, переждав, когда с нее слетит и уляжется пыль, открыл роман. На титульном листе была дарственная надпись — от руки, синими чернилами, и я тотчас узнал этот наклонный почерк: *«С днем рождения, любимый мой! Тебе повезло: ты сможешь прочесть одну из самых прекрасных книг на свете. Ты просто не имеешь права не полюбить ее! Сесиль»*. В книге были разрезаны страницы одной только первой части. Наверно, Франк не успел прочесть остальное. Или не захотел. Но я возьму эту книгу и прочту ее до последней страницы. Потому что это Сесиль. И потому что мой брат — самый большой дурак на свете, вряд ли я еще когда-нибудь встречу такого идиота. Ну как он мог бросить Сесиль?! Просто не представляю!

---

<sup>1</sup> «Путешественники на имперiale» («Les Voyageurs de l'Impériale», 1941) — роман французского писателя и поэта Луи Арагона, посвященный его жене, писательнице и переводчице Эльзе Триоле. — *Здесь и далее примеч. переводчиков.*

Этот ненормальный, видно, совсем не понимал своего счастья: его полюбила такая девушка — яркая, жизнерадостная, на редкость умная и проникательная, обожавшая литературу, рок-музыку и кино, она была готова отдать за него жизнь, — а он ввязался совсем в другую, непонятную историю и трусливо бросил Сесиль. С тех пор прошло уже два года, а я до сих пор не могу прийти в себя. Из-за матери я лишился брата, а из-за брата потерял Сесиль. Где она теперь? И почему заставляет страдать меня, хотя виновен Франк? Она перестала общаться с нами, как будто я тоже виноват в случившемся. Мы ведь были с ней так дружны, почему же она молчит? Она называла меня своим младшим братиком... Я открываю платяной шкаф. Вся одежда Франка на месте — сложена, как он всегда ее складывал. То есть небрежно, как попало. Ему было наплевать, в чем ходить, вполне хватало трех свитеров и нескольких рубашек. Он терпеть не мог выбирать подходящую. Однако под стопкой одежды я мигом заприметил одну из них — «шотландскую», в крупную красную клетку. Вынимаю ее, бережно расправляю. Эта рубашка — подарок Пьера, брата Сесиль и лучшего друга Франка; тот привез ее из поездки в Шотландию, незадолго до своей мобилизации. Знает ли Франк, что Пьера убили в Алжире, в перестрелке на тунисской границе, всего за несколько дней до объявления независимости? Вряд ли. Но страшная смерть брата и предательство Франка — слишком тяжелая ноша для Сесиль. Возьму-ка я эту рубашку себе — теперь она мне уже впору. Буду думать, что это подарок от Пьера. И от Франка.

У себя в кошельке я обнаружил свернутого вчетверо «бонапарта»<sup>1</sup> и не сразу вспомнил, что мне отдал его на сохранение Саша, перед тем как лечь в больницу «Кошен» на операцию по поводу сломанного носа. Это он из суеверия: у русских есть старинная примета — мол, будет повод вернуться из неизвестности, чтобы забрать свои денежки. К несчастью, в данном

---

<sup>1</sup> *Здесь:* французская банкнота в 100 новых франков, выпущенная Банком Франции 11 декабря 1956 года. Заменяла в обращении старую банкноту в 10 000 франков, называемую «Французский гений».

случае это не сработало. Саша сбежал из больницы и повесился в заднем помещении «Бальто», где собирались члены Клуба неисправимых оптимистов<sup>1</sup>. Меня его смерть как громом поразила, я не ожидал ничего подобного. Упрекаю себя в том, что не оказался рядом, — уж я смог бы убедить его не кончать с собой. В последнее время Саша походил на бомжа — изможденный, кожа да кости. Он долго надеялся, что брат протянет ему руку помощи, но Игорь был неумолим и отказывался простить Сашу — по его словам, убежденного коммуниста, который в СССР занимался тем, что убирал с фотографий лица «врагов народа» и таким образом уничтожил память о тысячах людей, живших на земле. Подумать только: я общался с ними много лет и понятия не имел, что они братья! В Клубе-то все это знали, но никто мне даже не намекнул, а сами они никогда не говорили о прошлом. Слишком уж тяжело им было переносить этот гнет. Их объединяло только одно — сознание, что они выжили, что им удалось спастись, уйти *in extremis*<sup>2</sup> от сталинского террора. Под конец от Саши осталась лишь тень. А я ничего не заметил, ничего не понял. Их схватки казались мне непонятной причудой. Какими-то несовременными. При встречах Саша всегда улыбался мне, пожимал руку, мы с ним гуляли в Люксембургском саду и говорили, говорили целыми часами. Увидев мои неумелые фотографии, он даже не усмехнулся, а дал мне много полезных советов; потом выбрал несколько негативов, отпечатал их и выставил в витрине магазина на улице Сен-Сюльпис, где работал лаборантом; словом, только он один мне и помог, а потом даже подарил на память свою «лейку». Я решил вернуть Саше ту купюру, которую он оставил у меня в нашу

---

<sup>1</sup> «Клуб неисправимых оптимистов» (2009) — роман, за который Ж.-М. Генассия получил Гонкуровскую премию лицейстов. Там впервые появляется Мишель Марини и другие персонажи, которые встретятся вновь в этой книге. В «Клубе неисправимых оптимистов» Мишелю 12 лет, он живет в Париже начала 1960-х. Он ничем не отличается от сверстников — разве что увлекается фотографией и самозабвенно читает. А еще у него есть тайное убежище — задняя комнатка парижского бистро, тот самый Клуб неисправимых оптимистов, где странные люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда решится их судьба.

<sup>2</sup> *Здесь: в последний момент (лат.).*

последнюю встречу, пошел в цветочный магазин на Сен-Сюльпис и попросил сделать букет на сто франков; хозяин составил роскошную, красочную композицию из георгинов и наперстянки. И я принес цветы на Монпарнасское кладбище, чтобы положить на могилу Саши. Я не сразу разыскал ее на еврейском участке, потому что могильная табличка упала. Я отчистил ее и воткнул на место, в землю. И долго стоял перед этим безымянным холмиком, молча благодаря Сашу за все, что он мне дал.

А теперь я каждое утро высматриваю почтальона. И как только вижу его вдали, бегу вниз. Я жду письма от Камиллы. Мне ее не хватает. Жутко не хватает. Кажется, будто мы в разлуке уже много лет, хотя она уехала всего неделю назад, — ей поневоле пришлось сопровождать родных, которые решили перебраться в Израиль. За несколько недель до выпускных экзаменов она предложила мне сбежать вдвоем, все равно куда, но я не осмелился на такой дерзкий поступок, не понял, что нужно срочно принять решение, что это единственная возможность не разлучаться. В общем, посчитал это чистым безумием — ну куда бежать, когда тебе всего семнадцать лет, все равно далеко не уйдешь. И теперь мне остается только ждать, когда Камилла придет весточку. Вот я и подстерегаю каждый день почтальона, — может, она все-таки напишет, придет свой адрес, и я поеду к ней. Но стоит мне подумать о том, сколько разных препятствий стоит на моем пути, как у меня опускаются руки. И остается только рассматривать фотографии, которые я сделал в Люксембургском саду, возле фонтана Медичи, тайком, — она не любила сниматься, и оттого эти фотографии, нечеткие из-за спешки, кажутся мне еще красивее.

Перед отъездом в Израиль Камилла подарила мне в залог любви книгу, которую читала в день нашей первой встречи, делая пометки на каждой странице. Она называется «Утро магов», с автографами Бержье и Павеля<sup>1</sup>. Вот теперь пора мне за

---

<sup>1</sup> «Утро магов» («Le Matin des magiciens, introduction au réalisme fantastique», 1960) — фантазийная псевдомонография, написанная журналистами Жаком Бержье и Луи Павелем (Пауэлсом) и представляющая собой, по отзывам, «любопытную смесь популярной науки, оккультизма, астрологии, научной фантастики и техники спиритуализма».



нее приняться, восстановить благодаря этой книге разорванную связь с Камиллой, каждый день угадывать ее мысли, убеждения, мучившие ее вопросы. Хотя я довольно скептически отношусь к существованию внеземных цивилизаций и прочему эзотерическому бреду, сочиненному этой парочкой. Но сколько я ни обшаривал полку над своей кроватью, книги там не оказалось. Голову могу дать на отсечение, что ставил ее туда. Тщетно я искал ее по всей комнате, обшарил ящики, платяной шкаф, другие полки — «Утро...» исчезло, как сквозь землю провалилось. Мать посмотрела на меня как на ненормального и сказала: «Тебе, может, и невдомек, но у меня в магазине дел по горло, и мне некогда тратить время на твои глупости!» А Жюльетта, моя младшая сестренка, построила радостную мину и спросила: «Ты что, фокусником теперь заделался?» Я ейнисколько не доверял — она уже много раз таскала у меня мультики без спроса — и поэтому, несмотря на ее протестующие вопли, устроил форменный обыск в ее комнате, но «Утра...» так и не нашел. Я был в полном отчаянии. У меня не просто украли книжку — у меня украли Камиллу.

Я все еще ждал от нее письма, но 17 июля, в пятницу, пришло другое послание, со штампом Министерства внутренних дел; его доставил курьер, мне предписывалось явиться на улицу Воклен по делу, касающемуся меня лично. Такие вызовы всегда пугают — сразу чувствуешь себя виноватым неизвестно в чем, и я позвонил туда с просьбой разъяснить причину. Мне ответили, что по телефону такую информацию не дают, но назначили прийти сразу после обеда. Там меня принял инспектор Дэлбм, тот самый, с которым я встречался на прошлой неделе, когда полиция обнаружила тело Саши, повесившегося в кабинете кафе «Бальто». Этот полицейский, молодежавый на вид, лет тридцати, сообщил мне, что речь идет о чисто формальном расследовании по запросу парижской прокуратуры с целью выяснения обстоятельств Сашиной смерти; похоже, полицейскому не терпелось покончить с этим делом; он предложил мне «голуаз»<sup>1</sup>, приоткрыл окно, затем проложил копир-

---

<sup>1</sup> «Голуаз» — дешевые французские сигареты.

кой четыре листа бумаги со штампом прокуратуры, засунул их в пишущую машинку и отстучал мои показания двумя пальцами, не выпуская из зубов сигарету.

#### ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА МИШЕЛЯ МАРИНИ

Из протокола допроса (далее: ПД).

ПД. Я посещаю этот шахматный клуб уже пять лет. И заметил, что Сашу Маркиша бойкотируют все члены этого клуба, но причина была мне неизвестна. Когда я на прошлой неделе узнал, что Саша — брат Игоря, завсегдагата клуба, меня это поразило. Я звал его только по имени, а фамилия мне была неизвестна. В моем присутствии ни тот ни другой не упоминали об их родстве. Вначале я больше дружил с Игорем, и он предостерегал меня насчет Саши, но без всяких объяснений. Потом я ближе сошелся с Сашей, а Игорь упрекал меня в этом, и мы с ним разошлись. Игорь относился к Саше с дикой ненавистью; трудно было даже представить, что они братья.

Саша, как и Игорь, бежал из СССР в начале пятидесятых годов, бросив там своих родственников; после этого ни тот ни другой не получали от них никаких известий. Там, в СССР, они оба были женаты. У Саши был сын, которому сейчас, наверно, лет тридцать; на момент его бегства из Ленинграда его вторая жена была беременна; но, вообще-то, он неохотно рассказывал о своей прошлой жизни. Что касается Игоря, то у него было двое детей — сын примерно моего возраста и дочь помладше.

Я узнал о прошлом Саши только неделю назад; до этого мне было неизвестно, чем он занимался в ленинградском КГБ; именно поэтому члены клуба и относились к нему так враждебно. Саша был необщительным, но при этом очень образованным человеком и с большим чувством юмора; кроме того, он здорово разбирался в фотографии и дал мне много ценных советов по поводу моих снимков.

Я был свидетелем частых ссор между Игорем и Сашей. Игорь не хотел, чтобы Саша посещал клуб, и два-три раза буквально вышвыривал его за дверь, но Саша упорно возвращался, ему было безразлично враждебное отношение окружающих.

Я присутствовал при их последней ссоре. Хотя, вообще-то, это была больше чем ссора: просто Игорь жестоко избил Сашу, нанося удары в лицо и в грудь, пока я его не оттащил. Честно говоря, мне даже пришлось стукнуть его самого, чтобы он перестал избивать брата. У Саши все лицо было в синяках, сломан

нос, рассечена губа, но никто не пришел ему на помощь. Мне пришлось самому отвезти Сашу в больницу «Кошен», где его приняли.

Я находился в «Бальто» в тот день, когда хозяин отпер дверь клуба, куда он закрыл доступ пару дней назад, чтобы сделать там кое-какой ремонт. Он распахнул дверь, мы увидели Сашу, висевшего в петле, и бросились ему на помощь, но поняли, что опоздали: тело уже было холодным, окоченевшим.

Не могу точно сказать, объясняются ли синяки на Шашином лице стычкой с Игорем двумя днями раньше или они появились потом.

Саша делился со мной своими тревогами: каморку под крышей, где он жил, несколько раз кто-то обыскивал, хотя там не было ничего ценного. Он постоянно чего-то боялся и все время твердил, что это не случайно.

Здесь инспектор Дэлом оторвался от пишущей машинки, заглянул в блокнот на спиральке, где выписал свои вопросы, и, колебавшись, задал следующий.

ПД. Саша потерял свой бумажник. Когда мы приехали в больницу, он попросил меня сказать, что мы незнакомы, и я не стал ему перечить.

У меня самоубийство Шаши не вызывает никаких сомнений. Хочу добавить еще одно: Саша как-то признался мне, что тяжело болен.

Выйдя из комиссариата, я снова начал думать о письме Шаши, в котором он мне признавался, что хочет покончить с собой; на его похоронах я передал это письмо Игорю — пускай сам отдаст в полицию. В СССР Саша был искуснейшим мастером-ретушером, он убирал с фотографий лица тысяч мужчин и женщин — так называемых врагов народа, — которым не полагалось фигурировать нигде после того, как их уничтожили физически. И выполнял свою мерзкую работу с мастерством и вдохновением подлинного художника.

Но с течением времени этому человеку — сотруднику секретной службы — вконец опротивело абсурдное существование, состоявшее из доносов, арестов и лжи; он задыхался от угрызений совести, от сожалений о содеянном и поэтому спас

жизнь своему брату Игорю, которому грозил арест, предупредив его анонимным звонком, а затем и сам ухитрился сбежать в Финляндию, прихватив с собой документальные доказательства бесчисленных преступлений партии, убившей десятки тысяч невинных людей. Весь остаток жизни он нес тяжкое бремя своих ошибок, и никто его не простил, не подал ему руки — члены клуба просто отвернулись от него, очень довольные тем, что нашли кого-то похуже, чем они сами. В конечном счете я стал единственным его другом, но ведь я ничего не знал о его прежней деятельности. А что бы я сделал, узнав правду? Продолжал бы дружить с ним или, как другие, с презрением отвернулся бы от него? Нет, наверно, все-таки я не стал бы осуждать его так жестоко; мне трудно сказать, как сложилась бы моя жизнь, если бы я родился в 1910 году в Санкт-Петербурге и стал свидетелем самой великой революции в истории человечества, рождавшей надежду на социальную справедливость. Наверно, я верил бы в нее так же истово, как миллионы русских. И так же, как они, закрывал бы глаза на начавшиеся репрессии, на устранение врагов народа — ведь это был бой за самое справедливое дело на свете! И конечно, я помимо воли оказался бы вовлеченным в эту дьявольскую, нескончаемую пляску смерти, стал бы сообщником палачей или самим палачом. Ненависть, с которой Игорь и все остальные относились к Саше, была вполне понятна: сталинский террор убил не только миллионы невинных, но и саму идею коммунизма, навсегда сделав его символом самого страшного режима всех времен.

И вот это действительно простить невозможно.

Через две недели после похорон Саши я пришел на Монпарнасское кладбище, на его могилу. Все-таки, несмотря ни на что, он по-прежнему казался мне жертвой. Я никак не могу понять, почему неисчислимые злодеяния коммунизма считаются менее страшными, чем преступления фашизма, даром что первые были совершены во имя благородных идей, которым предстояло изменить судьбы человечества. Саша искренне верил, что эти идеи осчастливят весь мир, но стал заложником кошмарного режима, который сам же и помогал создавать.

Я-то знал его только как образованного, интеллигентного человека с уникальным даром, позволявшим ему превращать в шедевр даже самые посредственные мои снимки. Он умел создавать контрасты, которые начисто отсутствовали в моих негативах, трепетную игру света и тени, которая делала лица одухотворенными и создавала впечатление, будто я великий фотограф. Я его не корю, ведь все эти манипуляции он проделывал с самыми лучшими намерениями. Ему хотелось сохранить тетради со своими стихами, спасенные им от печей КГБ, и он выбрал меня, потому что среди всех его знакомых я был самым молодым и не имел никакого отношения к злодеяниям той эпохи — эдакий невинный барашек; вот почему он относился ко мне дружелюбно, а может, даже и с симпатией. Самой страшной пыткой для него было сознание, что он никогда не увидит жену и детей. Но сегодня я должен перевернуть страницу этой истории. Саша с Игорем уже не вовлекут меня в свои былые схватки; я не хочу нести ответственность за их прегрешения, заражаться их ненавистью. «Лейка», которую завещал мне Саша, лежит без дела — теперь мне некого фотографировать.

Близилась каникулы; мать собиралась ехать со мной в Бретань в конце июля, оставив магазин электротоваров на своего брата Мориса, который обещал навещать нас на море по выходным. Впервые мне не терпелось покинуть Париж и вернуться к прежнему безмятежному существованию. Я должен был привести в порядок мысли и запрятать последние драматические события в самый дальний угол сознания, чтобы они перестали меня терзать.

Из лицея Генриха IV пришло письмо, уведомляющее о том, что зачислить меня во второй класс лицея<sup>1</sup> не представляется возможным ввиду моего личного дела и результатов экзаменов на аттестат с общей оценкой «удовлетворительно». Я решил оспорить это решение, обратившись к директору, но тот не

---

<sup>1</sup> После седьмого или восьмого класса школы во Франции можно было поступить в лицей, где три года готовили в поступлению в высшие школы.

принимал ни учеников, ни их родителей. Тогда я попытался объяснить с завучем Массоном, но он заявил, что не вправе оспаривать решение, принятое педсоветом. Конечно, мои годовые оценки нельзя было назвать блестящими, и напрасно я решил завязать с латынью при поступлении в лицей. Завуч советовал мне подать документы в Сорбонну, куда легче было попасть, но я так настаивал на своем, что он обещал все же поговорить с директором. И на следующее утро позвонил, чтобы сообщить хорошую новость: в первой декаде сентября мне разрешено сдать экзамен по латыни; согласно требованиям выпускного класса, нужно будет переводить с французского на латынь и с латыни на французский; если я получу хороший средний балл, то смогу пройти первый год обучения на подготовительных курсах для поступления в Эколь Нормаль<sup>1</sup>.

— Да я никогда в жизни не смогу это одолеть!

— У вас есть два месяца, чтобы наверстать опоздание. Это будет нелегко, но удача целиком и полностью зависит от вас, а Эколь Нормаль — это путь к высшему успеху.

Я вытащил на свет божий старые учебники по латыни, полистал их, и мне показалось, что все не так уж и страшно; тогда я пошел и купил учебники выпускного класса плюс сборник ключей к упражнениям. А вечером радостно объявил эту прекрасную новость матери.

— Ты что, совсем спятил? Зачем тебе понадобилась латынь? Решил преподавать ее детишкам? Лучше бы готовился к поступлению в коммерческую школу.

— А что мне делать в коммерческой школе?

— Получать профессию. Чтобы со временем управлять нашим магазином и хорошо зарабатывать на жизнь.

Назавтра я встал с рассветом и разработал целую учебную программу, рассчитанную на шесть-семь часов ежедневных занятий, которые позволили бы мне за пару летних месяцев освоить язык Вергилия. Я дал себе неделю сроку на то, чтобы восстановить в памяти давно забытый кошмар — пять типов

---

<sup>1</sup> *Эколь Нормаль* (фр. *Ecole Normale*) — высшая школа, одно из самых престижных учебных заведений Франции.

склонения существительных. Затем мне предстояло взяться за прочую мерзкую грамматику с ее неправильными глаголами, жутким синтаксисом и сложноподчиненными предложениями, от которых свихнуться можно, и все это нужно было ежедневно завершать переводом текста с латыни на французский, выбранного наугад в садистских экзаменационных перечнях. Словом, *nulla dies sine linea*<sup>1</sup>.

Я давно уже забыл проклятое старинное правило, приводившее в ужас студентов, а именно: «*Чтобы получить формы герундия, достаточно заменить флексию причастия настоящего времени в родительном падеже флексией герундия в том же падеже*».

Когда я раскрыл латинскую грамматику на середине, мой энтузиазм мигом испарился: мне стало ясно, что я сильно переоценил свои возможности — для успешного результата требовалось вкалывать как минимум десять часов в день, включая выходные.

Я сидел и распевал во всю глотку: «*Rosa, gosae, gosam*»<sup>2</sup>, как вдруг раздался телефонный звонок, и я с радостью услышал голос отца, веселый, как в доброе старое время. Он предложил мне встретиться в «Вулкане», рядом с площадью Контрэскарп: мол, у него есть для меня важная новость. Мы с ним не виделись уже два месяца. Когда я подгреб туда, отецпил аперитив у стойки и вел оживленную беседу с хозяином и двумя посетителями; на нем был светлый костюм в тонкую полоску, который делал его стройнее.

Он махнул мне, подзывая к стойке, представил своим друзьям и стал нахваливать мои способности, с гордостью заявив, что я блестяще сдал экзамены на степень бакалавра; хозяин начал меня поздравлять, хотя явно не помнил в лицо, даром что я довольно часто навещался в его заведение. Потом мы все уселись за стол; мой отец прямо-таки сиял от радости.

---

<sup>1</sup> Ни дня без строчки (лат.).

<sup>2</sup> Роза, розы, розу (лат.).

— Со светильниками покончено, и я бросил Бар-ле-Дюк<sup>1</sup>. Теперь я затеял крупное дело, нечто грандиозное; вкалываю как сумасшедший и чувствую себя прекрасно!

Наверно, он понял, что я воспринял новость скептически, с грустноватой усмешкой подлил вина в бокалы и с минуту задумчиво молчал. Потом спросил:

— Я тебе рассказывал о Жорже Левене?

— Кажется, это кто-то из твоих друзей.

— Он не просто друг. Я, как тебе известно, всегда не очень-то ладил со своим родным братом; я его люблю, но мы не можем ужиться вместе. А вот Жорж — мой названный брат. Единственный человек на этой земле, кому я всецело доверяю. Мы познакомились в Померании, в концлагере для солдат и сержантов, самом паршивом из всех; четыре года валялись рядом на одном тюфяке. Жуткий лагерь: условия жизни невыносимые, дисциплина зверская, то и дело массовые казни и вдобавок эпидемии... Сначала мы спали в палатках, а холод был жуткий, люди умирали тысячами, малейшая простуда грозила роковыми последствиями, и это еще притом, что с нами обращались менее сурово, чем с поляками и русскими, вот там был настоящий ад. В нашем бараке образовалась небольшая группа парижан; мы поддерживали друг друга во время нескончаемых проверок, делились продуктами и куревом из посылок Красного Креста, а если кто-то окончательно выходил из строя, другие его ободряли, рассказывая о своей жизни в мирное время; нас спасли две вещи: во-первых, каждое утро, и в дождь и в снегопад, мы заставляли себя мыться, а во-вторых, решили смеяться, несмотря на все мучения, которым нас подвергали, — смех был нашим оружием, нашим способом сопротивления, доказательством, что они нас не одолеют; и мы подбадривали себя, как могли, даже самыми дурацкими шутками, ведь мы все были молоды, мне тогда только-только исполнилось двадцать три. Именно там я и развил свой талант звукоподражателя: каждый

---

<sup>1</sup> *Бар-ле-Дюк* — главный город французского департамента Мез, расположен в зеленой долине реки Орнен в 200 км от Парижа.



вечер декламировал ребятам басни Лафонтена голосами знаменитых актеров — то Фернанделя, то Жуве, то Арлетти — и, можешь мне поверить, пользовался большим успехом, мои слушатели помирали со смеху. Жорж был до войны аспирантом, он учился в инженерной школе, но не успел получить диплом — его призвали в армию. В лагере он переболел чуть ли не всеми болезнями; пару раз мы боялись, что он вот-вот загнется; его отправляли в лазарет, потом возвращали в барак, недолеченного, но все-таки живого. После Освобождения каждый из нас вернулся к прежней жизни, мы потеряли друг друга из виду, но дружбу нашу не забыли. Жорж родился в семье промышленников, на севере страны у них была прядильная фабрика. Три месяца назад мы случайно встретились в привокзальном буфете Нанси и, знаешь, как будто только вчера расстались — заговорились так, что пропустили свои поезда. В общем, слово за слово, мы оба поняли, что в нашей жизни настал поворотный момент, и решили стать компаньонами.

— Компаньонами чего?

— Ну... трудно объяснить, это дело пока еще только в проекте...

Отец говорил с вдохновенным видом человека, проникнутого неугасимой верой, — похоже, именно так первые христианские мученики встречали львов на аренах цирков. Я точно помню, что подумал в этот момент: интересно, в какую еще аферу он хочет ввязаться? Отец пообещал мне рассказать об их проекте подробнее, когда план обретет конкретные очертания, и мы с ним выпили в честь его возвращения в Париж и за устройство в квартире, которую он снял на площади Мобер.

— У меня много разных планов, — сказал он, — я буду руководить стройкой, а Жорж — финансировать предприятие и управлять им. Поверь мне, мы скоро прославимся. Только, ради бога, ни слова твоей матери!

Домик, снятый в Перрос-Гиреке, был слишком мал для нашей семьи; мы с кузенами спали на чердаке, на раскладушках; я ставил будильник на семь утра — они даже не слышали, как

я вставал, — и шел прогуляться по пустынным ландам, а когда часам к девяти возвращался, они только-только продирали глаза. Им хотелось, чтобы я ходил с ними на пляж, но я собирал учебники, тетради и сбежал от них в бистро «Клартэ», где до самого вечера наслаждался уединением. Жизнь казалась мне вечной битвой, но моим главным противником была не латинская грамматика — ее-то я мало-помалу одолевал с упорством истинного римлянина. Мне было невдомек, что враг скрывается за приветливыми лицами коварных родичей, собиравшихся за семейным столом; в сравнении с моей матерью и ее братом Овидий и Цицерон, невзирая на их туманные пассажи, были мне преданными друзьями. В один прекрасный день дядя Морис спросил своим певучим алжирским говорком, к чему мне вся эта латынь:

— Мишель, объясни хоть раз внятно, зачем ты забиваешь себе голову этим мертвым языком? На что он сгодится? Уж не собираешься ли ты стать кюре?

И тут все они покатались со смеху, а я сбежал от них на чердак и начал осваивать неправильные формы превосходных степеней. Примерно через час появилась моя сестренка Жюльетта:

— Мишель, тебя папа спрашивает!

Я спустился в переднюю, прикрыл дверь в комнату, где родичи азартно сражались в «Монополию», и взял трубку. Отец впервые звонил мне лично:

— Ну, как там успехи у Юлия Цезаря?

— Господи, хоть ты-то от меня отстань!

— Я звоню потому, что сегодня днем встретил Сесиль на площади Бастилии. Вышел пообедать с нашим поставщиком, и на углу улицы Рокетт меня кто-то окликнул. Оборачиваюсь, вижу знакомое лицо, но не сразу вспомнил ее, все-таки два года прошло. Она совсем не изменилась — все те же коротко остриженные каштановые волосы и неприкаянный вид, как у бездомного мальчишки. Она сидела на террасе кафе, выглядела усталой. Мы выпили кофе, и она засыпала меня вопросами о Франке: неужели полиция все еще занимается его делом, есть ли у меня новости о нем? Но я не смог ей сказать ничего путного,

кроме того, что твой брат бесследно исчез и нам осталось только надеяться, что мы увидимся с ним, если когда-нибудь его амнистируют. Чувствовалось, что она действительно любила Франка и, думаю, любит до сих пор.

— А где она живет?

— Вероятно, в Париже, но я не решился ее расспрашивать. Там, в кафе, она читала роман Арагона и делала пометки на страницах. Ой, чуть не забыл: она еще спросила о тебе.

— Спросила обо мне?!

— Да, и была очень рада, что ты сдал на бакалавра. Я сказал ей, что ты готовишься к экзамену по латыни и собираешься поступать в лицей, а она ответила, что ты правильно решил, так и нужно.

— Что же она делала все это время? И почему так вдруг исчезла?

— Ну, я не решился задавать ей такие нескромные вопросы. А потом к нам подошел официант, он назвал Сесиль по имени и сказал, что ее просят к телефону. Ах да, совсем забыл: она просила тебя поцеловать.

Почему Сесиль передала мне поцелуй после такого долгого молчания? Может, просто из вежливости, как бездумно чмокают кого-нибудь в щеку на прощанье? Или чисто по-дружески? Или в знак обещания скорой встречи? Увы, в данный момент я находился в пятистах с лишним километрах от Парижа, в этой богом забытой бретонской дыре, в ожидании сам не знаю чего. Я повесил трубку и прервал захватывающую партию в «Монополию», чтобы объявить матери новость: я возвращаюсь в Париж утренним поездом; здесь заниматься невозможно, я должен сосредоточиться, а их присутствие меня отвлекает. Мать слушала меня, считая и раскладывая по кучкам монопольные купюры.

— Даже речи быть не может, Мишель, ты будешь заниматься здесь.

— Нет, я уеду завтра утром и никто меня не удержит!

Дядя Морис выпрямился и сердито ткнул в меня пальцем:

— Не смей говорить с матерью таким тоном, иначе будешь иметь дело со мной!

Дядя побагровел, губы у него дрожали — казалось, он вот-вот бросится на меня, и я, решив избежать скандала, развернулся и пошел к себе на чердак.

На следующий день, с утра пораньше, пока все спали, я сложил в сумку свои манатки и без лишнего шума покинул дом. Мне удалось поймать автобус, идущий в Ланьон, а потом сесть в парижский поезд. Решение было принято: я должен разыскать Сесиль и поговорить с ней. Если она посещает это кафе на площади Бастилии, значит рано или поздно появится там, нужно только проявить терпение. Впервые за долгое время во мраке забрезжил просвет; я был твердо уверен, что скоро разыщу Сесиль и смогу восстановить оборвавшуюся дружбу; свежее дуновение надежды прогнало тяжкое ощущение потери. В течение этого нескончаемого пути в моей душе созрело еще одно решение. Я заранее знал, как на все это отреагирует мать с ее жестким характером: она никогда не простит мне неповиновения, расценит его как оскорбительный вызов; у нее все люди делились только на две категории — те, кто за нее, и те, кто против. Франк испытал на себе этот жестокий принцип: он рискнул объявить о своих политических убеждениях, и ему пришлось тут же покинуть наш дом; вот почему, дезертировав, брат обратился за помощью к отцу; он прекрасно знал, что мать ради него и пальцем не шевельнет — только посоветует сдать-ся полиции. Ровно в девятнадцать часов я позвонил в дверь отцовской квартиры; мне открыла молодая женщина.

— Извините, я, наверно, ошибся этажом — мне нужен месяц Марини.

— Поль, это к тебе, — крикнула она, обернувшись в сторону комнат.

На ней был коричневый свитер с высоким воротом и плиссированная юбка того же цвета; золотисто-каштановые волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб; в глубине коридора показался мой отец в рубашке с закатанными рукавами.

— О господи, как ты здесь... Ну давай, входи.

Я шагнул вперед, девушка посторонилась, пропуская меня, и мы несколько секунд молча смотрели друг на друга.

В один прекрасный вечер будущее оказывается  
позади и становится прошлым.

И тогда, обернувшись, мы видим свою молодость.

*Луи Арагон*